

Ш-148.5

86

Л. ШАГИНЯН

ТРИНАДЦАТЬ-ТРИНАДЦАТЬ



■ ■ ■
БИБЛИОТЕКА
„ОГОНЕК“

№ 494

АКЦ. ИЗД. О-ВО

„ОГОНЕК“

МОСКВА — 1929

А. СТАРЧАКОВ
ГРАФ и БУРСАК



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 407
АКЦ. ИЗД. О-БО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1928

ЛЕОНАРД ФРАНК
В ПОСЛЕДНЕМ ВАГОНЕ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 408
АКЦ. ИЗД. О-БО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1928

БОРИС ГУСМАН
ОТ „ЧАЙКИ“
К „БРОНЕПОЕЗДУ“



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 409
АКЦ. ИЗД. О-БО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1928

СТЕФАН ЦВЕЙГ
ЖГУЧАЯ ТАЙНА
РАССКАЗ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 410
АКЦ. ИЗД. О-БО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1928

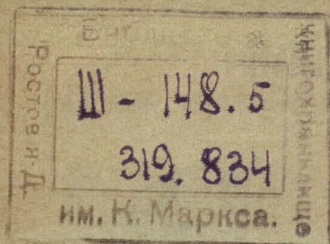
МАРИЭТТА ШАГИНЯН



ТРИНАДЦАТЬ—ТРИНАДЦАТЬ



Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“
Москва—1929



Ш-148.5

Проверено
1937—38 г.

Ш-148.5

Мотиль

Тришорувать

тришорувать

29.03/15

Погослов

Васильев

„Я поздно встал и на дороге
Застигнут ночью Рима был“.
Ф. Тютчев.

Глава первая*

Расписаний никаких не было. Вокзальные часы стояли на без четверти три и это могло быть одинаково день и ночь, потому что с утра и до вечера, и от вечера до утра в оплеванном, грязном, страшном, ничьем вокзальном помещении горело электричество, тоже ничье, за него никто не отвечал и никто не платил. Люди, ходившие на вокзале взад и вперед, могли быть взятыми напрокат из чужого сна. Они едва ли в точности знали, кто они и что им нужно. Без сомнения, они снились.

Поезд мог не притти. Никто не знал заранее, что это за поезд, и должен ли он притти. Но в темноте зловещим кошачьим пламенем, возникая из небытия, определились два глаза, в'елись по двум прямым, словно две бу-синки на ниточке, перпендикулярно к каждой человеческой паре глаз, смотревших вдоль полотна, стали ра-сти, круглиться, подкатываться, доски перрона затря-слись мелкой дрожью. Стало ясно, что поезд все-таки пришел и остановится.

* Настоящее произведение—вводная новелла из нового романа „К п к“.

Новая горсть людей выброшена в электрическое безвремяе. Люди семяют тяжелыми ногами, подбрасывая на плечи мешки, волоча за собой мешки, подталкивая коленками и животом мешки, несомые перед собой поженски, обеими руками,—так нести можно только с отчаяния, зная, что недалеко или не зная—куда... Вокзальные люди бесшумно, прыжками тигров, бросились на приехавших.

— Дай, донесу... Хлеб есть?

Но каждый молча волок свою ношу, а когда оставался, теряя силы, или для того, чтобы достать из-за пазухи странный, двусторонний, похожий на вексель, документ, старался держать мешок не дальше, чем между коленками. Худой, деликатный голос напоминал «бойтесь воров, гражданин», тут же, цепкими, но нетвердыми руками, очень на виду, в полусознании, совсем как во сне, так же открыто и так же немотивированно шаря по чужому мешку, где расползались веревки, и сию минуту вытащить что-то, похожее на краюху хлеба. Следовали странные восклицания, где обкрадываемый не верил, что может защитить свое добро, а крадущий не верил, что может украсть.

Быть может потому, что во сне лучше делать самое неосторожное, небольшой человечек в военной шинели, в башлыке, синий от холода, согласился отдать свой мешок другому такому же человеку в женской кацавейке, толстой, как ватное одеяло. Из кацавейки во многих местах лезли хлопья ваты, напоминавшие весеннее цветение тополей. Но этот второй человечек был, повидимому, крепче первого. Он подкинул мешок на спину,

раскорячился под ним и пошел крепкой развалистой походкой к выходу, где, под мертвыми часами, неподвижный красноармеец принимал и просматривал документы, похожие на векселя. А по векселям выбрасывались на улицу новые и новые люди, остановившиеся, как часы, полусознательные, сонные, синие, и на лицах у них было точь-в-точь, как на циферблате—без четверти три, неизвестно чего, дня или ночи.

— Куда пойдешь?—хрипло спросил человек в кацавейке у человека в шинели.

— В том-то и дело...—виновато ответил человек в шинели. Голос был женский. Из-под башлыка, из-за воротника шинели взглянули два живых женских глаза. Сизое от холода и ветра лицо приняло резкие очертания, и под электрическим светом тот, кто был в кацавейке, увидел ту, что была в мужской шинели—худую, даже тощую женщину с острым подбородком.

— Адресов-то у меня много, да я не совсем уверена... Стоявший с мешком молчал.

— Как вы думаете, куда ближе? У меня есть адрес на Волхонку и на... (красные пальцы развернули смятую бумажку) на Сретенку, на... около Волкова кладбища... нет, это не то, Кабанихин переулок...

Человек с мешком оглядел улицу. Было совершенно темно и очень мокро. Три фонаря плавали желтыми пятнами в лужах. Не было слышно колес. Шаги проходивших звучали так тихо, словно вся улица приподнялась на цыпочки. Впереди—провал виадука, чернота, пустота, мертвые дома, полное уничтожение. Он мог бы легко удрать на все четыре стороны. Но он не удрал,

а только сдвинул мешок пониже, и тут женщина в шнели увидела его лицо: это было сопливое белооброе лицо мужичонки с косыми глазами и редкими зубешками в таких опавших губах, что они уже не складывались вплотную, а так и тянулись резиночками вдоль десен.

— Дело-то к ночи,—ответил он дружелюбно:—иттить надо, куда вернее.

Но женщина не знала, куда вернее. Все адреса были одинаковы, все вели к незнакомым людям. Уверенность, с какой она собирала эти адреса, внезапно оставила ее. И тотчас же на спину, на ноги, на плечи навалилась ноющая усталость, а холод стал ей сводить кости и челюсти.

Они зашагали рядом, в темноту, и через несколько минут ей уже казалось, что мужичонка знает лучше нее, куда нужно итти и где будет вернее. Мужичонка стал ее будущим. Ослабевая, поднимая подошвы с такой неохотой, словно на каждой из них было наклеено по листу мушиного мора, упираясь от ветра подбородком в грудь, зевая, зевая, зевая,—до дурноты, до головокруженья,—она чувствовала, что с каждым шагом веки ее слипаются и делается все равно, кроме одной всемогущей силы засыпанья. Тогда она слюнила пальцы и мочила себе веки, судорожно удерживаясь от зевоты.

Первое странствие закончено. Скудный фонарь струится у огромного каменного дома. Под'езд черен. Ни огонька внутри, и, ощупью пробираясь по лестнице, она влипла грудью в чью-то меховую грудь.

— Простите, вы не знаете, где номер...

Но простить некому, — мех побежал вниз, не оставив даже пыльного оленьего запаха. Квартиры по обе стороны. Двери можно нащупать рукой. Номера нельзя нащупать ни рукой, ни глазом. Внизу ждет мужичонка. Непостижимо, что заставляет его делить это странствие. Но он положил мешок на самое сухое место, сел рядом и терпеливо ждет.

Через десять минут женщина в шинели спустилась вниз и стала перед мужичонкой.

— Ну как, подымать?

Женщина сконфуженно глотает слова, и на скулах — два кирпичных пятнышка:

— Я дала им письмо... От прежних хозяек квартиры, их родственников. Они говорят, что не понимают, как можно посылать в такое время чужого человека. Уверяют, будто каждую минуту обыск... Удивительно трусливые и странные люди.

Мужичонка, ни слова не говоря, встал и опять накинуд мешок на плечи.

— Теперь куды?

Женщина смущена, дрожит от стыда и неловкости. Ей хочется рассказать кому-нибудь все очень подробно и, шагая рядом, она описывает мужичонке, как ее разглядывали через дверную цепочку, как пожимали плечами, как грубо отвечали на вопросы. Перед вторым домом, на этот раз деревянным, в глубине тупичка, она мнется с минуту, потом решается.

На стук никто не открывает. Из противоположной двери высовывается голова. Крикливый голос: «Куда вы ломитесь! Их нет никого. Выселены».

Опять ночь, мокрота, темнота, покорная спина мелкозубого мужичонки с качающимся мешком, но усталость перебита, ноги идут сами собой, сонливость прошла, в висках стучит лихорадка.

Славная, светлая передняя первого этажа, куда они вступили вдвоем. Перед ними девочка в бумазейном переднике, с платком на плечах. Глаза у девочки открытые и честные. Она изо всех сил убеждает женщину остаться.

— Мама вот сейчас, вот сию минуту! У нас эта комната не отапливается, но папа привез четыре пуда газеты, я могу вам нагреть... Мама как обрадуется, раздевайтесь, раздевайтесь!

Девочка стягивает с нее шинель. Мужичонка нерешительно кладет мешок в угол.

— А то в случае чего,—шепчет он, делая ударение на ча:—есть тоже эвакуционный пункт, там переночевать можно.

Женщина, выйдя из шинели, оказалась худой, слабой, жидковолосой и неопределенных лет. Она быстро кидается к мешку, оттягивает веревку и сует мужичку большой круглый хлеб.

— Погодите, я вам отрежу сала.

— У вас есть сало! Счастливица!—вскрикивает девочка.

Женщина отрезает кусок мужичонке, потом девочке. Ломтик кладет себе за щеку. Начинает согреваться. Но когда за носильщиком захлопнулась дверь, она невольно пугливо оглянулась. Передняя в этой квартире нарядна и велика. Обои под дуб. Вешалка дубовая, на стене какие-то рога и охотничьи трофеи, возле трюмо на

столике шляпы, в углу—калоши. Все это еще существует и стоит на месте.

— Мама!—вскрикивает девочка и несется во внутренние комнаты, где хлопнула дверь. Проходит минута, другая, пять минут, никто не показывается. И, наконец, очень медленной походкой в комнату входит плотная рыжая женщина с грязным цветом лица. Бровки у нее мышиного цвета и кажутся обкусанными, губы поджаты. Подойдя к приезжей, она молча осматривает ее с ног до головы.

— Я удивляюсь... (голос сквозь зубы).

— Мария Афанасьевна просила вас передать это письмо...

— Я удивляюсь—(письмо остается в руке приезжей, потому что хозяйка отказывается его принять).—Как вы могли, в мое отсутствие, воспользовавшись наивностью ребенка... Я удивляюсь, если вы интеллигентная женщина...

— Но куда же мне деться? Ваша дочь так настаивала, что я отпустила носильщика...

— Странно! Как она могла настаивать, если ей запрещено даже отворять дверь в мое отсутствие!

— Но Марья Афанасьевна...

— Я не знакома ни с какой Марьей Афанасьевной. А если б даже была... Я вас убедительно прошу очистить мою квартиру.

Вместо того, чтоб оскорбиться, ответить презрением, уйти, приезжая делает жалкие попытки остаться как-нибудь, под каким-нибудь предлогом, хоть одну ночь. Начинается длинный торг: приезжая уверяет, что у нее

есть все документы, что она завтра утром найдет комнату, что ей бы переночевать хоть в передней, топить не надо, у нее есть мех. Но с другой стороны твердые возражения принципиального свойства. Ссылка на Алексея Ивановича—жильца. Алексей Иванович является в конце разговора. Он—толстый, бритый, хмурый, с привычкой чесать поясницу.

— Вы утверждаете, что вы музыкантша? Но, товарищ, когда так, вы обязательно можете устроиться на полном пансионе. Идите немедленно на Сухую улицу, дом номер два. Там специальное общежитие. Можете сослаться на меня, что послал журналист Санин. Торопитесь!

— А где эта Сухая улица?

Вопрос действует успокаивающе. Санин снизошел до того, что чертит на бумажке план. Хозяйка вдруг вытаскивает за веревочку из коридора доску, набитую на полозья.

— Мадам, я готова чем могу... Вот возьмите санки, чтоб довести свои вещи. Но убедительно прошу, завтра занесите обратно.

Где-то теперь тихий и рассудительный мужичонка. Он говорил об «эвакуационном» пункте, но искать его сейчас нечего и думать. Ночь перешла во вторую стадию, когда воздух наполняется темным шопотом рос, на стенах и камнях выступает испарина сырости, вокруг—незримое движение, похожее на таинственную перемену декораций за занавесом. В эти минуты сон человеческий прерывается кошмарами. И в эти минуты она идет, как лунатик, передвигая бесчувственные ноги, неизвестно

куда, волоча за собою на веревке громоздкие санки с мешком. А в мыслях только одно: сало. Она впопыхах оставила весь кусок своего сала у них на стуле. Вернуться обратно? Взять завтра? А если не отдадут? Тогда она не вернет им санки...

Сухая улица неожиданно из поворота блеснула на нее целым снопом света. Ясно и отчетливо горел номер два в освещенном фонаре. Качался фонарь над под'ездом, светились стекла в под'ездной двери, и окна первого и второго этажа были освещены. На стенах виднелись афиши, извещавшие о диспуте... Поднявшись на ступени, обрадованная светом, она принялась стучать изо всей силы. Но и это оказалось не нужно: дверь была лишь притворена и тотчас же подалась, открывая светлый путь наверх, по красной ковровой дорожке. Дом был старомодный. Вверх шла лестница, а по обе ее стороны отходили в глубину большие прихожие, с белыми голландскими печами во всю стену, справа и слева. Обе печи, щедро упитанные березой, трещали сейчас, как целый хор сверчков. На скамейке сидел швейцар или нечто в роде швейцара. Он поднял голову.

— Будьте добры,—начала она и запнулась. Уже давно она приготовила карандаш и бумажку, где сейчас, прислонясь к нагретой печи, нацарапала несколько слов:—будьте добры, снесите это кому-нибудь, кто еще не спит. Я—приезжая, музыкантша... Меня направили к вам в общежитие.

Сторож посмотрел на бумажку, потом на нее. У него был сытый и сонный вид. Уже хотел он сказать что-то безразличное и безнадежное, но вдруг—нечаянно—уви-

дел, как стояла перед ним женщина. Она стояла не прямо. Колени ее гнулись, гнулись под прямым углом, гнулись, как у старой извозчицей лошади с перебитыми ногами. Лошадей он перевидал на своем веку, и что-то похожее на испуг мелькнуло в стеклянных глазах:

— Положь, положь бумажку,—зашептал он, сразу перейдя на ты:—уж я понесу, кому надо. А ты иди покуда за мной. Итти-то не трудно ли? Недалечко тут, по лестнице, на мягкую небель посажу тебя, да и выпишься ты за милую душу. Давай мешок. Эх, и жизнь ваша!

Он шел по бархату лестницы, она за ним. Перед дверью остановился, из обшлага достал ключ, отпер угловую и впустил ее куда-то, где было темно, душно и затхло, но зато тепло.

— До завтра записку твою читать некому. Спи с богом. Чего надо, в коридоре за углом. Да смотри, виду не кажи, что ты здесь, не то нагорит мне за тебя.

Он торопился сделать доброе дело, тем более, что дом этот, комнаты, мягкая мебель, ковры, даже ключи за обшлагом,—все было сейчас бесхозяйское, потерянное, дешевое, в роде приснившегося во сне магазина с товаром, за который никто ничего не платит. «Дать человеку попользоваться-то хушь на ночь»,—думал он про себя, спускаясь по лестнице не прямо, а чуть набок,—привычка, усвоенная еще в ту пору, когда он носил длинную с галунами ливрею.

Женщина, оставшись одна и в темноте обвыкнув, увидела себя в очень тесной и густо заставленной комнате, в давнее время носившей название «штофной». Каждый звук, возникавший в ней, умирал в первую же секунду,

капнув и поглотившись, как влага песком, жирными, губчатыми, плюшевыми обоями, ковром, портьерами и мебельной обивкой. Вся комната казалась насыщенной этими провалившимися звуками. Женщина начала стаскивать ботинки, бросила их,—звук умер, не родившись. Чувство безопасности овладело ею. Она поверила, наконец, в прочность этого жилья, в прочность отдыха, но тотчас же, как поверила, вскочила с места: к ней шел поток чужой, яркой и громкой жизни, шел из щели в стене, образованной от неплотно натянутого плюшевого щита портьеры над неплотно притворенною секретною, под обивку стены, дверцей. Подойдя к щели и заглянув в нее, женщина увидела перед собою длинный большой зал строго классического стиля, с лепными карнизами и нишами в кариатидах. Зал, уставленный столиками, шумел сейчас, подобно морю. Сотня разодетых и веселых людей перекликалась, рассаживалась, прогуливалась, здоровалась, чокалась, ела что-то с тарелок, дымившихся на столиках. Это было так странно и так необычайно для того мертвого города, в котором она еще полчаса назад бродила, что женщина забыла усталость, села на пуф возле двери и принялась смотреть в щель.

Глава вторая

Когда советская власть начала свой эксперимент над человеческим желудком, некие ловкачи сумели отстоять, опираясь на высокое покровительство, красивый княжеский особняк для нужд неизвестно какого и кем узаконенного художественного общества. Дом, получив-

ший еще два слова в виде прибавки и затем сокращенный в сакраментальный «Диск», остался тем, чем был, то-есть княжеским особняком, и ни мало не пострадал от своего диковинного прозвания. Картины, мебель, бронза, ковры, фарфор, даже столовое белье были налицо. Тридцать два человека прислуги, начиная с повара и кончая судомойками, остались при доме вместе с мебелью и были переведены на советский оклад по существующим тарифным ставкам с прикреплением к распределителю и всеми прелестями великой карточной системы. Эта «челядь», как ее называли до революции гости старой княгини, ничуть не гордилась установлением пролетарского порядка и считала слово «пролетарий», применительно к себе, обидным и оскорбительным, а старший конюх говаривал в людской, когда не было чужих ушей, что-де «это который пьет—пролетарий, так он от невежества, от серости, может прямо от сохи взят. Который фабричный, матом ругается, на селе за такого приличную девку не отдадут, этот тоже, может, пролетарий. А мы свое дело знаем, у нас на книжке до революции двадцать две тысячи было с хвостиком, мы всю жизнь с господами и с чистой публикой; нашего брата барышня антиресует, чтобы ручки, ножки и в грудях не жирно было, потому мы тоже вкус понимаем. А вы скажете «пролетарий».

И хоть назначен был дому комендантом товарищ Подтеркин, из бывших местных обойщиков, и ходил он в телячьей дохе с портфелем, усы и бороду брил, сморкался в носовые платки, а бумаги писал не иначе, как диктованьем на машинку,—но этого коменданта тридцать

два человека прислуги, или по новому «низшие служащие», нисколько не признавали и ориентировались не на него, а на старуху княгиню, оставленную жить в антресолях в качестве надзирательницы за столовым бельем.

В тот вечер, о котором я рассказываю, «Диск» устроил «кабарэ» со вступительной лекцией о «морфологической структуре шансонетных песенок и связи их с эпохой французской революции». Зал был уставлен столиками, люди сидели за ними и теснились в проходах, пышно-волосый докладчик в клетчатых брюках, стоя на эстраде, качался в такт речам своим, держа обе руки в карманах и заменяя жесты выразительнейшими гримасами. Пробираясь через толпу к единственному незанятому столику, шла группа из трех лиц: переводчица с испанского, Камилла Матвеевна фон-Юсс, и двое мужчин. Переводчица была хороша собой, ослепительно бела, и на каждый ее плавный широкий шаг приходилось бы два-три такта мелкой рысцы низкорослых брюнеток с их выпираемым, подобно заквашенному тесту, розовым мясом шелка из лакированных туфель-лодочек и выгнутыми от каблуков коленками. Именно эта минута, во всей ее едкой выразительности, и привиделась усталой женщине из-за портьеры. Она никогда не видела рисунков Жоржа Гросса. Но сейчас глазами Жоржа Гросса глядела она в залу, охваченная смутным ужасом. Ее потрясла тусклая выразительность лиц, похожих на мертвые маски. Казалось, глаза лежали на лицах отдельно, сами по себе, взятыми на прокат. Эти глаза глядели в небытие или в стену, их способность пронизыванья, дивное свойство человеческих глаз, как бы входящих лу-

чами своими в пространство, исчезла. Белый налет незрелости,—так глядит уже не первой свежести рыба с прилавка. Изношенная синь под глазами, щеки, натертые кармином, жгутики намалеванных губ, словно нашитые из тряпочек,—страшные пятна разглажающегося трупа. Цвет нации, собранный тут, был в сущности срезанным цветом, поставленным в стакан с водой. Будь женщина социологом, она подумала бы об этой трагедии беспочвенности; но ей только пришло в голову сравнение голодных улиц, прохожих в подворотнях с ослабшими мускулами, не державшими мочи, и этого блестящего зала с запахами кушаний.

Около портьеры шевельнулись стулья. Группа из трех лиц рассаживалась. Рыжеволосая красавица села первой. Двое мужчин перед нею были: один, толстый с бычьим затылком, геолог Штакельберг; другой—тоже геолог—бельгиец фон-Дитмар. Бельгиец был очень тонок, с длинной шеей и маленьким личиком, с повисшим носом и таким крохотным подбородком, словно его и вовсе не было, а прямо под губами начиналась шея. В первую минуту он казался молодым, даже юным, но приглядевшись к тусклым волосам и бровям вы вдруг замечали, что они совершенно седы, и что гладкое розовое лицо покрыто сетью мельчайших морщинок. Он только что познакомился с переводчицей. Толстяк доканчивал представление:

— Мосье Дитмар ликвидирует тут, с разрешения большевиков, старые концессии. А вы, Дитмар, имеете удовольствие ужинать с внучкой фон-Юсса, помните?

— Юсс, знаменитый исследователь Бу-Ульгена?

Толстяк несколько раз кивнул:

— Хороша, а? Достойна деда, а? Сама на хлеб зарабатывает. Языки знает.

— Как, вы работаете?!

У бельгийца был почти женский, даже бабий голос; он поднял брови. Близко посаженные, острые глаза взглянули прямо на Камиллу. Эти глаза дотронулись ~~чересчур~~ материально до всего, что было в ней небрежного и заношенного, до всего, что они в эту эпоху, по молчаливому сговору, не видели и не замечали друг на друге,—до поределого от стирки шелкового платяца, до тонкого шнурка пояса, с которого сошли шелковинки, обнажив белый налет хлопка, до башмаков, отсыревших от грязи, каемки белья из-под ворота. Она вдруг ярко покраснела.

Бельгиец тотчас же учтиво наклонил свой пробор.

— Три отбивных котлеты,—Штакельберг поднял три пальца и взглянул на «низшего служащего»:—три, братец мой, отбивных с картофелем, три стакана вина, хлеба не жалея, больше клади. И потом... Ну, дамское что-нибудь, пирожное, одну штуку, понял?—Геолог выпятил один палец и погрозил им:—Стой, куда ты? И две рюмочки очищенной, с грибочком или с капусткой, что у вас там имеется.

Он шумно вздохнул и потер ладони. Ужин был шикарен. Десятки тысяч—месячный заработок счетовода! Камилла глядела на него с циническим любопытством. Она знала, что толстяк скуп и никого никогда не потчевал. Войдя сегодня в залу, веселая и голодная, она рассчитывала разве что на стакан чаю за столиком издателя и

на карамель, которую можно унести в кармане, чтоб долго потом сосать в одиночестве. Но в воздухе было что-то исключительное. Оно шло от запаха шевииота и тонких сигар, от круглого личика Дитмара, даже от толстяка, который—не было ни малейшего сомнения—искал ее сегодня и подошел сам, даже подбежал.

— Я скоро покину эту страну... вы не должны нам отказывать!

Камилла и не собиралась отказывать. Она жадно глядела на стакан с вином, поставленный перед ее прибором, не вытерпела и вдруг выпила все сразу, блаженно чувствуя, как течет по горлу вино, заливая ей пересохший пищевод.

Штакельберг, напряженно улыбаясь, глядел на пустой стакан. Дитмар кивнул ему, и геолог опять подозвал низшего служащего.

«Неужели он закажет второй»,—думала Камилла, опьянев. В воздухе забились, как тысячи волн в стеклянном бассейне, теплые струи музыки. Вышла певица, сложила на животе руки, палец к пальцу.

— Кажется, ваш дед,—начал Дитмар, медленно ворочая на тарелке котлету,—оставил знаменитую рукопись?

— Что это вы, батенька, весь мир знает, один вы не знаете! Наследник, отец ее,—он никому не давал и в завещании потребовал, чтоб распечатать при французском посланнике, Дюдье-Дюрвилле. А тут подоспела революция, мосье Дюдье умер месяца полтора после смерти ее отца, не до рукописи было. Кажется, Камилла Матвеевна, она еще у вас.

— Или, может быть, вы передали?

— О, что вы!

Оба, Штакельберг и Дитмар, бровями повели на соседний столик, Дитмар вопросительно, Штакельберг возмущенно. За соседним столиком сидел, напряженно выпрямив спину, человек во френче, и его спина с худой ключицей, острый зуб над прикушенным концом папиросы, барабанивший по столу палец, нога в краге, закинутая на другую, небритый кончик щеки,—все было символом затесавшегося сюда, но дозволенного здесь, как пастеровская прививка в стеклянной трубочке, небольшого количества большевизма. Небольшое количество большевизма, если глядеть в корень, ничего так не желало, как перестать казаться большевизмом, и в прищуренном око выражало все свое критическое понимание происходящего на эстраде, давая понять и глазом, и пальцами, что оно—большевизм в трубочке—отнюдь не меньше других разбирается в структуре французских шансонеток. Камилла повернулась в ту же сторону. Два ее спутника великодушно продолжали делить ее, один—говоря к ней, другой—за нее отвечая:

— Камилла-то? Ручаюсь. На папиюльки—возможно. А сволочам, убийцам, разрушителям...

— Тише!

— Ни клочка, факт! На папиюльки. Да.

— Но зачем же на папиюльки!? Я могу предложить... Бельгийский королевский музей с удовольствием, за которую сумму...

— Сумму? Десять процентов комиссионных.

— Угодно ли вам, mademoiselle Камилла...—Дитмар наклонился к ней, одной рукой придвигая второй стакан

вина, а другою, как бы просительно, интимным жестом подбородка, вскинутого ей навстречу, натянутыми сухожилиями шеи, умильным блеском глаз сопровождая эту совершеннейшую вольность, другую он сжатым кулачком положил ей внезапно на колени.

Сжав веки, она боролась с судорожным приступом пьяного смеха. Он грозил вырваться фырканием. Ха-ха, рукопись. Ей все представлялось нестерпимо лукавым, двоящимся,—рукопись была лишь предлогом, чтобы слабая рука с маленьким волосатым пальцем легла, сжатая в кулачок, несильным, но жарким комочком ей на колени. Внезапно разжав веки, она во всю ширину глаз посмотрела на Дитмара. Она подмигнула ему, чорт возьми. Это было уже слишком. Рука тотчас убралась на место.

Геолог обсасывал косточку отбивной котлеты. Дитмар отодвинул свою, не доев. Теперь он старательно, на два вершка, подчеркнуто отдалял свой элегантный рукав, свою тощую ногу, носок лакированного ботинка, бледное выхоленное ухо и тщательно выбритую щеку от неосторожного взлета ее тусклых шелков, от ее маленькой ножки, от молочно-белой руки, от пышных прядей ее рыжеватых волос, взлетающих тучей, когда она качала в такт музыке головой. А музыка яростно выбрасывалась с эстрады, присасывалась к сердцу, выедающая его, как кислота. Музыка напоминала что-то из прошлого. Потерю? Мечту? Глупости. Камилла допила второй стакан, сморгнув в него прошлое. Розовое личико Дитмара, с сетью мельчайших морщин на блестящей, гладкой коже, это круглое лицо без подбородка

представилось ей кулачком, маленьким кулачком с волосатым пальцем.

— Рукопись, если хотите знать...—торжественно произнес геолог, принимая у «низшего служащего» тарелочку с пирожным и критически оглядев ее:—Вы бы, милейший, дали что-нибудь с кремом, а не бисквит,—рукопись, доложу я вам...

— Рукопись у меня дома,—заливаясь хохотом, пробормотала Камилла:—Ру... ру... если только чорт...

— О, чорт!

— Чорт если только не спер ее,—это мы сейчас узнаем. Нет, ос... оставьте меня, я не позволю. Вы нах... хал. Где телефонная трубка?

Немая телефонная трубка висела на стене, над нею. В ту странную пору оглохшие провода, онемевшие звонки, мертвые раковины говорили громче, чем напуганный обыватель, они говорили о разорванной сети общества, дырах, темнотах, фигурах умолчания; они висели судорогой разрезанного червя,—связь, связь от человека к человеку, общество, живой организм, пропущенный сквозь мясорубку на фарш.

— Не трогайте телефон!—прошипел геолог. По его мнению, каждый провод вел в Чеку.

Но Камилла оттолкнула его ногой. Опьянев, она стала вульгарной. Она прижимала трубку не к уху, а к пылающей щеке, губы ее, красные от вина, бормотали пьяно и бессвязно:

— Тринадцать-тринадцать... Готово. Сатану. Моя рукопись, сатана, рукопись в красном сафьяне, в сундучке... в сундучке... в сундучке...

Маленькая женщина за портьерой, в комнате, которую мы называли штофной, вдруг перестала слушать. Ужас потряс ее, напомнив о действительности: кто-то с шумом раскрыл дверь в ее убежище. Пьяный шопот донесся до нее уже не со стороны зала. Видения, достойные Жоржа Гросса, исчезли. Отупевшие, блаженные зрачки пьяниц проплыли и потухли. Шумное дыханье вползло в темную комнату, кто-то тащил сюда другого человека, в темноте была борьба, упрашиванья, икота, тяжелый голос мужчины твердил «я готтов» (икота перекатывала ударенье и выходило «я гóттов»),—другой человек, женщина, отвечала лицемерным визгом; но вот мужчина нашарил выключатель, и свет залил комнату, а в ней—маленькую, худую фигурку в чулках, мокрые сапоги на ковре, шинель на диване, мешок в углу.

— Вы кто такая?—отрезвев, икнул человек, страшно вращая выпученными глазами. Он был огромный, рыжебородый, в пылающей красным и желтым тюбитейке. Его масляные губы были мокры и вздуты, как после трапезы людоеда. Теряя голос, она отвечала ему, и ее руки, опущенные вниз, тряслись.

— Вон!—крикнул человек:—Ил-лья! Сукин сын, мерзавец, сколько я тебе раз! Мы не ночлежный дом! Нам наделают неприятностей! С юга? Приезжая? Ты голову потерял, собака, ты мне в Чеку попадешь, завтра же попадешь в Чеку! Что, до утра? Будьте добры, я вас не знаю. Никакого Санина, никаких Саниных не знаю, не слышал. Помоги ей, тебе говорят!

Через пять минут она опять стояла на улице. Она стояла на улице, куда за ней вышвырнули мешок и

санки. Но уже вместо страха и униженной покорности в ней родилась ненависть. Руки ее продолжали дрожать, только это была другая дрожь. Она шла откуда-то из самых глубин сознания. Поставив мешок на санки, женщина, все продолжая крупно дрожать, взяла веревку и ступила по улице, где уже не горели фонари, и не светились огоньки в домах. Над крышами, где фоном для черных труб стояло небо, стало мокреть и светлеть...

Женщина шла, разговаривая сама с собой. Она бормотала себе под нос странные и несвязные слова, из них можно было понять только бесчисленную цепь обращений: «Подумайте только», «слушайте, пожалуйста»... Накочив на тумбу, санки застряли, веревка туго лопнула, и женщина упала лицом на камни.

В ту же минуту ее приподняла с земли чужая рука. Настолько посветлело небо, что оба они, женщина и человек, ее поднявший, могли разглядеть друг друга. Он был тоже в военной шинели и ростом немного выше. Утомленное молодое лицо, по-русски курносое; пронизательный, не слишком задерживающийся взгляд; фуражка, чересчур узкая для большого, выпуклого лба, сползающая на затылок. Она—мы теперь можем разглядеть ее пристально. В том высшем состоянии возбуждения, почти экзальтации, в каком находилась она, весь ее скрытый источник жизни, подобно нефтяному хранилищу, охваченному пожаром, высветил вдруг исключительной яркостью, цельной вспышкой, полным светом каждую черту ее мелкого и обыкновенного лица, сделав его лицом необыкновенным и потрясающим. Дрожь перешла на губы, на ресницы. Дрожь посыпалась дождем неожиданного рыдания:

— Послушайте, подумайте только! Где же у вас, где же у вас! Когда к нам на юг красные пришли, мы молились, молились на вас, мы этому всему верили... А здесь люди на улицах с голоду валяются, а вы мазаную толпу кормите, гориллы, обезьяны, музыка, вино, какие-то иностранцы... Дитмар этот, наверное, шпион... Послушайте, ведь это же была оргия, я вам сейчас расскажу, как я туда попала. Я приняла за сон, дико мне показалось...

— Говорите последовательно,—произнес незнакомец и достал из бумажного мятого пакетика папиросу:

— На Сухой? Так. Имя ее вы тоже расслышали? Неужели, фон-Юсс? Что? По телефону тринадцать-тринадцать? Забавляются они. Вы наверное помните, дело шло именно о рукописи? Точно, точно,—собственные ее слова. Хорошо. А теперь...

Она уже перестала протягивать к нему, жестикулируя и рассказывая, свои трясущиеся руки. Ненависть перешла в озноб. Потемневшее, исплаканное, немолодое лицо глядело в простовато-решительное лицо курного человека, и его «так, так», словно замок в ключе, доставило ей внезапно глубокое удовлетворенье, чувство пережитой связи, будто положила она кусочек себя в хорошее и сохранный место.

— А теперь, гражданка, я вас сведу в эвакупункт, недалеко. Там примут, поживите, сколько надо. Спросили бы на вокзале, вас сразу и направили бы, куда следует.

Он ее уверенно вел два-три квартала, таща за собой, на обрывке веревки, сани; полы его длинной шинели

по-военному мотались, отскакивая от сапог. Узкоплечая спина была стройная, крепкая, и шел он четко и не сутулясь. Сдал сонному заведующему двумя, тоже четкими, словами, кивнул ей, задержавшись на минуту хорошим взглядом на лице ее, и повернул обратно,—а женщина осталась и навеки ушла из нашего рассказа досыпать свою усталость и определяться в том сложном и социальном комплексе, каким ее встретила жизнь столицы.

Глава третья

События, между тем, продолжали разыгрываться, несколько не считаясь с обычным размером зимней ночи. Было уже вовсе под утро, когда Камилла Матвеевна, сопровождаемая Дитмаром, остановилась на темной площадке перед дверью своей квартиры. Ключ долго бегал у нее в руках, нащупывая отверстие замочной скважины, и его скользкий бег доставлял ей тонкое удовольствие. Но когда они оба очутились в маленькой, темной комнате, где крылатым призраком распластался огромный с приподнятой крышкой рояль, на грустных струнах которого лежали, за неимением шкафа или ящика, мешки с крупой, лавровым листом и макаронами, и тихое перезванивание задетых струн пугало мышей, когда они покусались на паек; и где неживые портреты, казалось, падали со стен, подобные августовским метеорам, отражая случайный свет бронзовой поверхностью своих витых рам и озерами стекол,—Камилла почувствовала вдруг поспешный и тяжелый стыд женщины, которой хочется

оправдания. Она скинула пальто на пол и осталась стоять посреди комнаты, говоря себе «ах» и оплакивая себя, оттого что нет в мире человека, способного разбудить в ней сейчас моральный рефлекс осуждением или упреком.

Дитмар же, сделав вид, что ищет ее, протянутыми руками шарил по комнате, ища сундучок и борясь с чрезвычайной, ломившей его, как медведь, усталостью. Клеточки,—не заграничного костюма, нет,—клеточки его тела, впрочем, те же, что и таинственная изысканность материи, сделанной там, на таинственно-доброкачественных станках, в таинственно поспешающем мире цивилизации, взывали к покою. Столько тысяч и сотен раз погребаемые вместе с панцырями, кафтанами, жилетками его предков, становясь элементами, грубо разбуженные от сна и отдыха, они прогонялись злорадным усилием человека из тихого протяжения небытия в расчисленное количество работы, высасывались насосами из азота воздуха, ловились в течении воды турбинами, крутились, плавились, становились силой, работающей на человека и заменяющей ему фосфор мозга и мускульную энергию тела. Не мудрено ли, что клеточки изношенной материи этой, отдавшей свою энергию машине, дослуживали человеку и живому механизму его последнюю, спотыкающуюся службу? Могучее динамо сердца было подмочено, трансмиссии артериальных сосудов хрипели и срывались со шкивов, маховики челюстей дробились от хрупкости, турбины нервной системы отказывались служить, и электрический ток не рождался, не рождался потому, что якорь не двигался, магнитное поле истощилось, про-

волока не пересекала его больше. Так случается и так будет,—ничто не дается даром, кроме советов родственника.

Дитмар разоблачался, сидя на краю кровати, от восхитительных, триумфальных образчиков победы материи, победы европейской цивилизации, ее фабричного станка и дешевого килоуатт-часа: фиолетовой дымкой, пронзенной серебром шелка, слетели носки вслед за блеском штиблета; тончайший шелк белья проструился вниз, увлекаемый тяжестью подтяжек, отделанных искусством ювелира,—Дитмар был сноб, вдвойне сноб в поединке с женщиной варваров. Но выхоленность раздетого Дитмара мертвенно засинела при свете утра дряблостью кожи, бугорчатой от гусиного озноба, острой палочкой, до неприличия тонкой ноги с рахитичной коленкой, впалостью груди, черным провалом подмышек, мясистою, жидкой брюшинкой европейца, привыкшего к медленной возне трех завтраков и обязательной салфетке. Закрыв глаза в приливе разочарованья, Камилла ловила себя на мысли о мальчишке, с'едающем первый раз в жизни фрикассе из лягушек. Неизжитый инстинкт славянки, разбуженный и взвинченный голодом, перешел в бешеную злость, когда Дитмар, скошенный усталостью, прислонил к подушке щеку. Он был все еще учтив в этом жесте, подходящем для бархатной подушки салон-вагона. Обманчивые движения вялых губ, весь его костлявый корпус с набухшей по-женски грудью, противные ребра, гуляющие в бессильной коже,—так пробует на ощупь практичная хозяйка ощипанного петуха, и так его пробовала мысленно на ощупь Камилла, представляя себе,

как она колотит, кулаками колотит засыпающего и бормочущего извинения бельгийца. Ненависть слегка насытила ее. Но дремота, овладевшая ею, длилась не больше часа. Кошмары часового сна: шорох ног допотопных животных в комнате, неумолчный стук в дверь, громкий голос деда, фон-Юсса, длинный нос кузнечика, обеими лапками очищаемый под горластый треск «ру-ру-ру».

— Рукопись!—мысленно вскрикнула Камилла и проснулась тотчас.

Утро стояло посреди комнаты. Все было отчетливо видно—хаос белья, стульев, продуктов в раскрытом роляе. Хаос чего-то, развороченного под столом. Прищурившись, она увидела: «сундучок!» Не вскочила, а минут десять продолжала лежать, с холодным вниманием глядя на раскрытый и выпотрошенный сундучок. Среди вороха вещей, разбросанных по полу, не было рукописи в красном сафьяне. Медленно, все с тем же холодным вниманием она перевела прищуренный взгляд на Дитмара. Он спал, подвернув руки под себя, на животе, словно пряча что-то. Красный кулачок с волосатым пальцем, положенный слабо и несытой тяжестью взволновавший ее, вспомнился ей тотчас же, как если бы он все еще лежал у нее на коленке. Но теперь этот повернутый и бессильный кулачок слился в ней с образом всего Дитмара. Она поняла: ее обокрали.

Трудно обокрасть женщину. В сумасшедшей способности взвинчивать, путать, приплетать лишних людей, Камилла, тотчас же из всех выходов выбрав самый сложный и наиболее шумный, вскочила и начала бесстыдно одеваться, кидая спине бельгийца гримасы бешенства. Свер-

нув наскоро волосы и еще держа шпильку в зубах, она выбежала в коридор, повернула налево, воротилась, постояла, трепеща, на месте, как мотор, а потом решительно пошла направо и остановилась перед большой, двустворчатой дверью матового стекла.

Стучать к товарищу Львову и говорить с товарищем Львовым в этом доме никто не решался с того самого часа, как товарища Львова водворили в комнате, откуда за неделю до него, ночью, вывели мирного гражданина Видемана. Вместе с мирным гражданином Видеманом, из комнаты, что напротив, был уведен молодой князь Гагин, служивший письмоводителем, чье имущество заключалось в почерке, и даже не в почерке, а, как он сам выражался устно и письменно, в «подчерке», ибо роду Гагиных, размножившемуся по-китайски, не сплошь суждено было владеть грамотой. «В Рязанской губернии,— рассказывал Гагин, упирая на букву я и становясь похожим на бабу,— в Рязанской губернии Гагиными хоть мостовую мости. А предок наш изошел от татарина по имени Великая Гага, и были мы прежде, пока не растеряли наделов, князьями Великогагиными. Если же угодно, я могу переписывать казенную бумагу, отчетность и ведомость или же литературную рукопись для печати дешевле машинки и на много скорее».

Что касается гражданина Видемана, то Видеман жил с женой, и первоначально богатая квартира в переднем корпусе целиком принадлежала ему. По профессии Видеман был юрист и любитель фарфора. За месяц перед тем, как увели его, ездил Видеман в город Подольск запастись яйцами и мукой. Но вернулся задумчив,

без муки и яиц, хотя стал с того дня часто менять золотую десятку, и соседи видели на подносе, выносившемся в кухню, ломтики лимона в стаканах Видемановых гостей, даже неотсосанные и неотжатые. Лимоны для членов коммунальной квартиры давно уже перестали существовать иначе, как в иносказательном виде бумажки с миллионною на ней цифрой. Беспрецедентная щедрость Видемана удивила их. И когда ночью метнулась в коридоре на стену тень человека в галифе, с оттопыренной сзади кобурой, по всей квартире прошелестело: «Чека».

Спустя неделю автомобиль подвез к переднему корпусу маленького, по-русски курносого, в военной шинели, товарища Львова. Водворился он быстро и незаметно, и его водворение отозвалось на жильцах даже некоторым тайным облегчением и чувством гордости: дескать, свой, коммунист.

Вот к этому товарищу Львову, в неясном стремлении напутать, нажаловаться и противопоставить мужчине другого мужчину, вздумала войти Камилла фон-Юсс, на ходу всаживая в прическу шпильку. Она постучала и стремительно открыла дверь. Она переступила порог, не сообразив еще, что именно скажет. Но тут глаза ее широко раскрылись. За письменным столом, в пол-оборота к ней, сидел товарищ Львов, с фуражкой, слишком узкой для круглого, выпуклого шара его головы. Он сунул пальцы под козырек, с'ехавший на макушку. Его беглый голубой взгляд, не задерживаясь слишком, прошел по Камилле и снова уперся в раскрытую на столе отчетливую, желтовато-серую рукопись в красном сафьяне. Она успела еще только поднять руку судорожным

движением к горлу, где на цепочке хранилось у нее нечто, и попятиться, попятиться назад в коридор, чувствуя на себе боковой взгляд сидящего человека. Он хотел было сосчитать насчет телефона: «Вы звонили мне, гражданка»... Но острота не далась ему.

Инстинкт,—большевики сказали бы—классовый,—мгновенно сделал из Камиллы практичного игрока. Она чувствовала неминуемую опасность, опасность для нее и для Дитмара. Она знала, что Дитмар лучше, Дитмар свой, и она метнулась обратно, к Дитмару, сохраняя на этот раз здравую логику действия.

Дитмар стоял посреди комнаты уже одетый, с опухлыми мешочками под глазами, с длинным, красным от холода, потому что у Камиллы не топлено было с осени, носом, который он учтиво вытирал сейчас, чаще надобности, туго свернутым белым голландским платочком. Бельгиец ждал, повидимому, какого-нибудь законного продолженья в виде чая или какао, убедившись своевременно, что ни под тюфяком, ни в развороченном сундуке рукописи не было.

— Она украдена!—задыхаясь, прошипела Камилла, хватая его за плечо:—убирайтесь отсюда через черную дверь на кухне. В шесть часов вечера, если не арестуют меня, ждите в церкви Успенья, в Успенском переулке, вы и ваш друг геолог. Я дам главное, главное не в рукописи—у меня. Скорей, скорей...

Она тащила его горячей рукой к кухне. Вернувшись, она заметалась по комнате, собирая бумаги в папку, еще раз проверила цепочку и ладонку возле горла и одетая, холодея, вышла в переднюю. Никто не сто-

рожил ее. За дверью у Львова была необъяснимая и неестественная тишина. Другой призадумался бы над этим, но женщина, как перед шахматной доской, зажимуривает глаза на возможные ходы противника, упоывая всем своим сердцем на счастливую случайность, забывчивость, ошибку, недоглядку. И сейчас, видя в закрытой двери Львова спасенье, она опрометью, через парадное, кинулась вниз, на улицу.

Ей надо было исчезнуть, раствориться в городе, замести следы и, казалось, не было для этого лучше эпохи, чем придуманная большевиками. Как снежные хлопья, сыпались на город целыми пригоршнями новые люди. Они походили друг на друга одеждой, озабоченностью, краснотой лица, походкой, и среди них Камилла, в ободранной шубке и валенках, теряла себя и свое прошлое. Люди сыпались с вагонных приступок, куда-то спешили, запорашивали дороги и тротуары, сотни баб, неустомимо неся в мешках и корзинках «скоропортящийся продукт», антоновку или морковку, распяливались вдоль тротуаров у тумбы, обмотанные в платки по самые ноздри, и, не торопясь, продавали за миллионы и сотни тысяч свой товар, распространяя вокруг еще свежий запах деревни.

Мужчина заметил бы при этих скитаньях (или мнительно вообразил бы), что за ним следит человек, похожий на охотнорядского приказчика, одетый чисто, полноватый, из-под барашковой шапки выпустивший на лоб низкую шевелюру, с губами, вышлепанными наизнанку. Но Камилла опять отогнала беспокойство, прячась за всяческие приметы, предвещавшие удачу. Между

тем, полноватый человек шел за ней исправно, сворачивая туда, куда сворачивала она. Скрип крепкого снега, облако от дыханья ползли за ней, заставив ее пройти по Успенскому переулку, не заходя в церковь. В эту минуту, будто не от церкви, а совсем с другой стороны к ней донесло обманчивый удар церковного колокола. Она хотела уже повернуть, как назойливый преследователь, ускорив шаги, вдруг поскользнулся, налетел ей прямо на спину и, стараясь удержаться, схватил ее обеими руками за шею.

— Гражданка, звиняюсь. Не подумайте чего прочего.

Голос преследователя, веселый и простоватый, звучал добродушно. Он вызывал мысль о раскаянии. Камилла простила даже лапищи, несколько задержавшиеся у нее на шее, потому что они успокоительно пахли махоркой, спичками, салом, и под ласковый смех незнакомца, теперь обогнавшего ее, вернулась в церковную подворотню.

Маленькая церковь Успенья никогда не отличалась многолюдностью. Под старинными сводами ее было темно и сыро. У ворот за стеклом раньше горела перед образом божьей матери, итальянского письма, бледнорозовая лампада. Эта большая икона, где три краски сочетались в бледный букет—голубой цвет плаща богородицы, ее розовое платье с открытым вырезом шеи и круглыми, твердыми складками вокруг маленьких грудей и густое золото венчика над головами ее и младенца—была почитаема жителями переулка. Не раз и не два прикладывались к ней губы прохожих, оставляя на мерзлом стекле пятнышко таянья. Лампада потухла со дня Октябрь-

ского переворота. Но одинокий фонарь бросал сиянье на мерзлое стекло иконы и, преломляясь сквозь тысячи льдинок, забрызгивал склоненный лик. Черные фигуры, торопливо крестясь, проходили в подворотню и исчезали в церкви. До странности много было сегодня черных фигур. Два церковных придела, оба едва мерцающие, жили как-будто разной жизнью. В одном, среди шопота и вздохов, различались обычные суетливые бабы-торговки, степенные жители флигельков с бородами лопатой, старики и старухи, квартиранты церковного дома. Однако же с ними сегодня занимался не старый благообразный поп, а дьякон, ходивший туда и сюда, машинально выполняя службу. Глаза дьякона и вся его повадка были сегодня обращены к другому приделу, куда он нет-нет да и вскидывался оком, тотчас же, наперекор себе, взмахивая кадилом и продолжая гнусавить прерванное. А во второй придел проходила особая, никому незнакомая публика. Нищие, обо всем наслышанные, услужливо раскрывали дверь и не приставали к ней. Черные люди, закутанные по уши, шли молча. При скупом свете видно было, что черный их цвет—не случайность, у многих на рукаве был кусочек старого крепа, креп свисал длинной вуалью с женских шляп. Когда тени собрались в приделе, и священник в парадной рясе торжественно задвигался в алтаре, вдруг из-под крепа раздался приглушенный вопль, и на него тотчас отозвался высокий седовласый мужчина коротким рыданьем. Мужчина выступил, разведя руками, как бы раскрывая свою скорбь без стыда и утайки перед чернотой придела, и в руки его втиснулась пухлая,

мягкотелая женщина, сострясающаяся от тихих воплей. Тогда весь придел задышал сочувственными слезами, и сквозь них пробился монотонный рокот священного служения, которое справлял успенский батюшка с необычной для него торжественностью.

Камилла, стоя сзади, часто крестилась и тоже всхлипывала. Круглый хлеб она положила перед собой на пол и, кланяясь, щупала, цел ли. Вдова уведенного Видемана и старый полковник, до этого вечера друг друга не знавшие, плакали, мешая слезы. Это была панихида, особенная панихида, казавшаяся героизмом священнику и молящимся,—справлялась она на сороковой день «по умученным и убиенным». Совсем в темноте, из предосторожности высоко подняв воротник, сутулился толстый геолог, в высшей степени недовольный, что его сюда завели. Профиль сатира, червячком подвернутая губа были полны страха, а позади него, больше инстинктом, чувствовала Камилла присутствие Дитмара. Когда панихида кончилась и плачущие причастились, унося в своей нетвердой походке, опухших глазах и жалких обмотках крепа на рукавах и шляпах все мрачное величие эпохи, Дитмар приблизился тихонько к Камилле. С глухой враждебностью она ощутила новый запас элегантности, сытости, тепла и холи, исходившей от заграничного шевиота.

— Выслушайте меня, Дитмар!

— О, да.

— Дурак! (по-русски). Нет, нет, это не к вам (по-французски). Рукопись украл большевик, товарищ Львов (геолог подошел к ним и прислушивался тоже), но это

ничего... рукопись... наплевать на нее. Если только,—дайте честное слово, клянитесь, на кресте клянитесь, вот сейчас, перед батюшкой,—если вы только обещаете мне визу и взять в Бельгию, понимаете как? Жениться на мне обещайте, вот что!

— Дитмар женат,—прошептал геолог.

— Ну, пусть фиктивно, все равно, я должна отсюда выбраться!

— И тогда, mademoiselle?..

— И тогда, monsieur...

Камилла остановилась, глядя на него торжествующе.

— Тогда я вам дам, в руки дам, только не здесь, а за границей, план, карту, анализы месторождения, о котором рассказывает дед в рукописи. Я могу за миллион продать, об этом в рукописи ни слова, я ни днем, ни ночью не снимаю, вот, на мне, если б об этом пронюхали...

Она ударила себя возле шеи и вдруг, забеспокоившись, стала шарить дрожащими пальцами между пуговиц ворота. Геолог и Дитмар, не замечая, глядели друг на друга.

— Покажите!—вырвалось у геолога.

— Сейчас, ах... что же это, сейчас, секундочку... Боже мой, боже мой, боже мой!

Дико вскрикнув, Камила рванула с шеи обрывок цепочки.

— Господа, помогите мне! Этот мерзавец, он, он, боже мой, бегите, бегите, бегите за ним! Я шла по улице, он налетел сзади, схватил за шею, это он вид сделал, будто поскользнулся. Ах, дура я, дура я...

Переглядываясь в безмолвии, бочком и спиной, Дитмар с геологом медленно, медленно отступали от потерявшей голову женщины. На крик бежал церковный сторож. И уже, упав вниз, возле хлеба своего, понимала несчастная Камилла фон-Юсс, что в одну минуту она лишилась будущего—заграницы, покоя, свободы, денег, даже дома, где остались под крышкой рояля крупа и макароны, и куда страшно было сейчас вернуться. Истериически плача, она уходит из церкви и со страниц рассказа, подобно первой женщине, определяться в сложном житейском столичном комплексе. Это для нее бегут переулки вниз, к грязному снегу Замоскворечья, для нее чернеют дворы Долгоруковской, для нее лежит Сухаревка ворохом тряпья и сухим кашлем ночлежек, и это она позднее, годы спустя, подойдет к вам в чулочках виктория с опухшим ртом и глазами, держа карту съестного и горячительного, между залитыми пивом столиками грязного «бара». Напившись, она расскажет, присев возле вас, историю прошлого, и Дитмару достанется в нем не по заслугам видное место.

Глава четвертая

Покуда на снежных и неосвященных кладбищах городов и в нетопленных кладбищах домов разыгрывались все эти тусклые происшествия, как бы взятые эпохой, как модным оператором, не в фокусе с'емки,—и о них начинали петь поэты; пока выплескивалась в литературу истерическая струя снегопада, метелей, ветров, и создавались памятники всеобщего умосмятения, всеобщей сдви-

нутости и сброшенности с места, выюгой проносясь перед обезумевшими обывателями,—в главном фокусе с'емки, освещенный прямым лучом прожектора, стоял небольшой человек, рубя ладонью по воздуху в такт своей речи, тряся бородкой, обрамлявшей мягкий славянский рот, шурясь из-под крутого лба, и пиджак танцевал, поднимаясь подмышками вместе с поднятой рукой, а жилетка морщилась у него на животе,—таким он восстал в тысячах гипсов и крашенных полотен, никогда не смешных, потому что везде любимых. И в этом небольшом человеке эпоха сосредоточила то, что латиняне называют ratio, свой интеллект, здоровую прямизну духа, направленного на самосознание.

Десятки и сотни раз маленький товарищ Львов, сидя, как и сейчас, на мягком стуле среди взволнованных своих товарищей, с обкусанным карандашиком в верхнем кармане рубашки, слышал знакомый голос. Они с'ехали сюда со всех концов истощенной голодом страны. Их маленький оркестр, поддаваясь выюге, пронесившейся за окнами, которую поэты называли музыкой революции, заврался тоже. Обыватель слышал, стоя в очередях за пайками, что будто вожди грызутся, что будто Троцкий пошел против Ленина, а Ленин пошел против Троцкого,—и усмехался в собачью шкурку на рукаве. Но в квадратах, организованных, как шахматная доска, фигуры стояли друг против друга, и на них лился сейчас ослепительный свет прожектора. «Цектран» возмущенно вставал против напавших на него «водников». Конфликт водников и Цектрана. А кто из обывателей слышал о водниках и Цектрane? Кто

останавливался, идя с пайком на плечах, чтоб прочесть мокрую от клея, распяленную на стене московскую «Правду»? Конфликт водников и Цектрана был конфликтом организованной людской массы с организующей головкой учреждения, конфликтом начавшего бродить теста с брошенной в него закваской, и уже над этим конфликтом реяли сотни надстроек, теоретические мечи скрещивались в брошюрах и листовках, создавались комментарии и буфера,—и только одна лопаткой воздетая ладонь с подушечками возле пальцев рубила перед собой сгущенный воздух, пересекая его ослепительной ясностью здравого смысла. Вместе с другими, смущенный и взволнованный товарищ Львов слышал высокие нотки без конца повторяющихся слов:

«...сочинить принципиальное разногласие и при этом сделать ошибку—на это мы мастера, а изучить наш собственный опыт и проводить его—на это нас нет».

«...хорошо или плохо учреждение, пока не знаем. Испытаем на деле, тогда и скажем. Давайте изучать и спрашивать».

«...нужно изучать, что из этого вышло. Практически изучать... требуя точнейших документов, напечатанных, доступных проверке со всех сторон. Кто верит на слово, тот безнадежный идиот... Если нет документов, нужен допрос свидетелей обеих сторон или нескольких сторон и обязательно «допрос с пристрастием» и допрос при свидетелях».

Снова и снова требовал голос «проверки практического опыта». Перед маленьким Львовым, как и перед десятком его соседей, рука оратора, держа за вожжи

понесшую тройку, как бы опять с усилием возвращала ее из иллюзорных пространств на колею проезжей дороги. Так закладывались первые камни «учета» и клалась на пиюитры маленького оркестра одна и та же партия, — «организуите свой опыт», «изучайте свой опыт», «разбирайтесь в том, что из этого вышло», — перекликалась со старою мудростью Гёте, учившего, что «лучший критерий — практика».

Львов сидел на этом собрании, дискуссионном собрании фракции РКП VIII съезда Советов, вначале рассеянный, пришедший со своими мыслями и ждавший конца, чтоб повидать нужного ему горного инженера-партийца. Но уже к середине, как и другие, был охвачен тягой напорных слов, бивших все по одному и тому же, заряжен ими и готов к действию.

— «Я никогда не слышал, чтоб в Томском преобладал теоретик, — вязал в воздухе голос Ленина, обрушиваясь на них высокими нотами, — но что Томский, сработавшийся с профессиональным движением, должен отражать, сознательно или бессознательно, этот сложный переход, и если у массы что-то болит, и она сама не знает, что болит, и он не знает, что болит, и если он при этом вопит, то я утверждаю, что это заслуга, а не недостаток!»

У сидевшего позади Львова вырвался шумный вздох одобрения. И когда Львов невольно, приняв этот вздох себе на затылок, обернулся, оказалось, что сзади сидит как раз нужный ему человек. Подобно выдохнувшему, Львов испытывал странное облегчение. Словно на тяжелый груз, который он держал в воздухе обеими

руками, легко наплыл кран элеватора и поднял его на лету, как слон поднимает хребтом копеечку. Проверять, опираясь на массы, быть проницаемым, быть выразителем того, что чувствуют массы,—Львов пережил знакомое чувство «социального настегивающа»,—так он звал про себя исключительное мастерство Ленина возвращать подскочившую от пара крышку назад, на кастрюлю.

— Ты мне нужен, выйдем вместе.

— Обожди,—инженер застегивался, роняя рукавицы:— всякий раз, друг, как слушаю Ильича, я понимаю, что есть, в сущности, гений,—это есть векторная величина. Мы в математике зовем (он говорил книжно и по-интеллигентски, Львов туго понимал его), зовем векторными величинами такие, что указывают не степень только, а направление. Мы с тобой, другой, третий—мыслим скалами, степенями; Ильич мыслит вектором, он дает что—и прибавляет к нему... куда... чорт, куда ты меня тащишь?

— Интеллигент,—смеялся Львов,—ты бы по существу! А то сидел, слушал и вместо дела методику обсуждаешь. Собственного крыльца, вектор Иваныч, не узнаешь. Иди, садись, читай это вот.

Он аккуратно вынул из портфеля и разложил перед инженером рукопись в красном сафьяне и смятый, тщательно сейчас разглаженный, листок желтоватого пергамента, на котором тонкою краской был начерчен мельчайший план, сопровождаемый мушиными точками цифр. Инженер развернул рукопись и поправил очки на носу. Читая, он держал пригоршней бородку, почесывая себя большим пальцем под нею, как чешут за ухом кошку.

Глаза его заблестели и расширились. Спустя полчаса он встал, полез на полки книжного шкафа, цепляясь за них руками, выудил откуда-то на ощупь толстый том справочника и порылся в нем.

— Этот фон-Юсс,—инженер рыскал очками в справочнике,—Юсс этот был тип. Шаркал при дворе, гнался за орденами, был с тогдашними французскими дипломатами в родстве и всего верней на жалованьи,—экономический шпионаж начала прошлого века. Я этим делом не интересовался, но есть куча материалов, есть архивы, можно восстановить историческую обстановку, если ты найдешь нужным, до самых последних мелочей. Что не он первый выдумал про свинец на Бу-Ульгене, это факт. Об этом еще у Павзаня имеется... Но этому вот бреду, извини пожалуйста, я не могу поверить.

Он ударил ладонью по рукописи:

— Здесь говорится, будто неправильно считать найденный на Бу-Ульгене металл свинцом. Будто географы ошиблись. Будто показания, собранные у пленных турок, и образцы, полученные через контрабандистов и аскеров, говорят вовсе не о свинце, а о чем-то, лишь наружно похожем на свинец. Ты в минералах толк понимаешь?

— Не особенно.

— Свинец, видишь ли, металл дурак. Он силен, прости за выражение, задницей; это один из металлов, не обладающий свойством намагничиванья, замечательный только по удельному весу, гажелый металл. И вот фон-Юсс утверждает, что металл, найденный в Бу-Ульгене, невежественные географы и чиновники спутали со свинцом, приняли его блеск и его особое свойство за тяжесть,—

произошла оптическая и мускульная иллюзия,—они приняли за тяжесть... знаешь что? Исключительную степень намагниченности. Не знаю, какой дурак мог принять намагниченность за тяжесть. Но фон-Юсс утверждает это. Он утверждает еще больше: будто это совершенно новый металл, и его соседство с бором очень знаменательно. Ну при чем тут бор, скажи на милость? И что будто бы этот самый необыкновенный металл есть магнит в чистом виде, магнит, какого мы в природе не знаем, потому что мы магнетизм знаем, как свойство железистых руд. Этот магнит... нет, я отказываюсь говорить серьезно. Убери свою средневековую чепуху. Единственное в ней серьезное обстоятельство, что фон-Юсс не получил за это орден, не болтал вслух, не сделал сенсации, а почему-то припрятал рукопись в виде записки французскому посланнику, и что его экспедиция на Бу-Ульген бесследно сгинула и... (он опять искал и прочел в справочнике) «несмотря на все принятые розыски, следы ее так и не были обнаружены».

Выговорив все это залпом, инженер вдруг повернул озабоченное лицо к товарищу, и его растерянные близорукие глаза, с которых падали искры очков, его взлохмаченная пригоршней борода, бледные, обмякшие губы говорили в десять раз больше, чем слова.

— Штука-то видно задела тебя, товарищ,—шопотом сказал Львов, сам не зная, зачем понижает голос.—Прими во внимание: делом этим интересуется Бельгия. Шпион фон-Дитмар,—мы достоверно знаем, что он шпион,—охлаживает Совнарком, добивается концессии на Бу-Уль-

гене, ловит внучку этого самого фон-Юсса, и еслиб не случайность—и рукопись, и план были бы не у нас, а у него.

Инженер беспокойно расправил листок пергамента и принялся его изучать.

— Предположим, что Юсс прав, — шептал Львов. — Предположим, что у нас на Бу-Ульгене найден металл, по силе подобный радио, чистый магнит или в роде того. Какая практическая польза?

— Польза? Если фон-Юсс только на одну пятую, слышишь, на одну пятую прав, и у нас есть на Бу-Ульгене нечто подобное, мы сможем покрыть всю страну электро-станциями, стоящими не дороже, чем песочные часы.

Львов принялся молча укладывать в портфель рукопись и листок пергамента.

— Куда ты?

— В Кремль, — ответил Львов. — Если поездка понадобится, готов ли ты?

— Стой, садись. Я должен досказать тебе. Вспомни Ильича: «кто верит на слово, тот безнадежный идиот». Что ты понимаешь в технике, куда ты сунешься? Чем ты объяснишь? Кто тебе поверит? Десятки, сотни, тысячи ученых сидели над проблемой «перпетума мобиле», безостановочной машины. Знаешь ты, из каких морей фантастики выужен «якорь» динамо? Знаешь, сколько надежд было связано с магнитом? Естественный магнит колоссальной силы даст возможность чудовищных комбинаций, устройства... ну, хоть двух полей, перпендикулярных нашим полюсам, регулирования погоды, климата, вращения земли...

Он схватил лист бумаги, карандаш и стал набрасывать перед Львовым кружева фантастических чертежей, когда-то забавлявших его в безвыходном одиночестве Шлис-сельбурга.

Город был голоден, беден, ободран, люди измучены, издерганы, заняты, дел было много неотложных, прямых, требовательных, и все же, вспыхнув в зрачках мечтателя и чекиста, странная мысль об экспедиции на Ульген встретила сочувствие более практичных людей. Заворошились листы бумаги. Полетел тайный приказ. Сквозь штыки белых необходимо было пробраться смельчакам, рискуя жизнью,—и об этом, повидимому отлично знали в шикарнейшем доме, под'езд которого и швейцар которого, и флаг которого ограждали от ареста Дитмара, поднимавшегося сейчас наверх по ковровой лестнице. В этом доме чиновники-иностранцы отлично говорили по-русски. Этот дом, давший приют бельгийцу, был миссией одного из прибалтийских государств, болтавшегося до революции, как лодка у пристани, на привязи у русского империализма. Чиновник с петушиной головкой, в манерах и поведении пропитанный казенщиной старого Петербурга, сидел в канцелярии, принимая прошения и заявления. Перед ним были новоиспеченные бланки, толстое желтоватое верже говорило о солидности. Новое испеченный язык, на котором он поперхался, впрочем, как если бы непривычные *з* и *с* попадали ему в дыхательное горло, бодро звучал под сводами новоиспеченной комнаты, где пол был до блеску натерт, стены увешаны портъерами и панно (портреты благоразумно убраны), столы орехового цвета с новешеньким сукном,

и тяжелые кожаные кресла от тяжести несдвигаемо высились все на одних и тех же местах. Посетители подходили в порядке живой очереди. Это были рыжевато-белокурые женщины в вязаных кофточках, длиннобедрые, плосколицые, пахнущие особенной, застойной порядочностью, чьи брошки и даже сумочки и тяжелые золотые цепи на шее не производили впечатления шика. Голоса их с певучими «айн» и «лайн»-ами, руки в обязательных перчатках, большие и широкие, ноги, выдававшие тайну о неизношенных и внизу, на билетик, снятых калошах,—все говорило о ветре Прибалтики. Они восстанавливали или устанавливали гражданство, получали пособия или визы, посылали или спрашивали письма. Став за границей, родина их дышала здесь тонким воздухом контрабанды. В соседней комнате высокий молодой человек в визитке, стоя, попыхивал сигаркой. Его белокурая голова прилизана, голос еще не окреп, он был исполнен особого, исключительного уваженья к самому себе. В лихорадке больших возможностей, молодой человек стоял (его знобило сидеть), мысленно переживая действия, как музыкант иной раз на губах, неслышно пузыря их, переживает сложнейшие оркестровые мелодии. В ящиках стола, связанные бечевками, небрежно лежали тяжелые кирпичи советских миллиардов. В стеновых шкафах, окунутые и спеленутые, готовые переплыть желтые волны Финского залива или трястись в новоиспеченных лакированных вагончиках лимитрофного государства, береглись, высокие ценности—добро Эрмитажа и Румянцевки, таинственная закупка из рук в руки, с глаза на глаз. Каждый человек—вор; воровство, в сущ-

ности,—да, воровство в сущности,—разве не романтика это рыцарственных крестовых походов? Где плохо лежит—плохо лежит,—какое меткое, движущееся, обязывающее выражение! Хорошо, действительно построен русский язык. Как закричал бы, как оскорбился бы молодой человек в визитке, как взволновались бы мелкие лимитрофные государства, как хищно оскалились бы пасти акул покрупнее, тех, что создают рынки и диктуют конституции, если бы легкий озноб молодого человека, его легкие, быстрые мысли, его легкое, радостное мироощущение стали бы на мгновение ясными как для него самого, так и для всего хоровода их. Охраняя священный принцип собственности, переживали они в эти годы высокой температуры, ставя вне закона шестую часть света—необузданную, сокровеннейшую, пьянящую и дурманящую страсть из страстей, охоту из охот—клептоманию—страсть к воровству, стихию воровской безнечужданности. Одни рыскали там, где плохо лежали моря, суши и реки, леса и недра, границы и народности, сырье и рынки. Другие рылись рыльцами барсуков в обесцеленных, плохо лежащих акциях, скупая и просто сгребая их пачками. Третьи, помельче, попроще, пьянели от старинных полотен, фарфора, персидских ковров, музейных картин, тайно вырезанных из столетних рамок, странными, грибными, плесенными людишками продаваемых среди грибов и плесени захолустных притонов,—о, вору платили вору, платили настоящими деньгами—пачками, связанными веревочкой.

Очнувшись, романтический молодой человек в визитке увидел, что он не один в комнате. К нему учтиво, хотя

несколько снисходительно, с видом старшего брата, подходил высокий европеец в несомненном заграничном шевьоте, держа котелок в левой руке, а правую протягивая ему. Круглое личико прибывшего, розовое и гладкое на первый взгляд, с шеей, начинавшейся прямо оттуда, где следует быть подбородку, с длинным щербатым носом, бросалось навстречу улыбкой.

— Необходимо поговорить,—начал Дитмар, усаживаясь, стягивая с левой руки перчатку и бросая ее на дно опрокинутой шляпы,—совершенно конфиденциально, без свидетелей поговорить с вами.

На этом месте рукопись обрывается.



ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ГАЗЕТА НОВОГО ТИПА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

Литературная газета — первая и единственная в СССР газета, целиком посвященная вопросам культурного строительства и жизни искусства.

Литературная газета помещает произведения лучших советских и иностранных писателей.

Литературная газета имеет постоянные отделы критики, библиографии, театра, кино, музыки и изобразительных искусств.

Литературная газета дает обстоятельную информацию о политической жизни Советского Союза и за границы.

Литературная газета ставит важнейшие проблемы художественного творчества.

Литературная газета ведет дискуссии по самым острым вопросам литературной современности.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: 6 м. — 1 р. 20 к., 3 м. — 60 к.

ОТДЕЛЬНЫЙ № — 5 коп.

Подписку **МОСКВА 6** Страстной бульв. 11
направл.: Акц. Изд. О-во „ОГОНЕК“

ПОДПИСКА ТАКЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ ВСЮДУ НА ПОЧТЕ.

19

38080

Цена 15 коп.

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ «ОГОНЕК»

Принимается только вместе с журналом «ОГОНЕК».

Еженедельный иллюстрированный журнал «ОГОНЕК» с приложением ДВУХ книжек Библиотеки «ОГОНЕК» еженедельно к каждому номеру.

1 мес.—1 р. 40 к., 3 мес.— 3 р. 75 к.
6 мес.—7 р. — к., 1 год — 13 р. 50 к.

А Д Р Е С:

Москва 6, Страстной бульвар, д. 11, телефон 5-51-69.
Акц. Изд. О-во «ОГОНЕК».